

взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало...» И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. <...>

## ГЛАВА III И СОВЕРШЕННО ЛИШНЯЯ

<...> Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постоянно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались <...>.

<...> «Бригадир» был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», — говорил сам Потемкин. Все как бы спросонья зашевелились. Что же, неужели ж и тогда, — продолжал я свои произвольные созерцания, — уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация и что все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше «Бригадира» еще началось, конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и прорваться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается до других помочек, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры во всякие помочи, что удивительно, как

это мы горы тогда не сдвигали с места и как это все эти наши алауинские плоские возвышенности, парголовские вершины, валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт про одного героя, что

Ляжет на горы, горы трещат<sup>2</sup>

и что

Башни рукою за облак бросает.

Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие тогда (до «Бригадира» и в его время) издавались и читались книжки, так это представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны! Есть у нас теперь замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто Кузьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда». Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, выдавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и принявшиеся за свои воспоминания. (...)

То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, важно и торжественно читает по складам подобные аnekdotы, да еще принимает всё за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная тогдашняя вера в дальность и необходимость подобных европейских известий. «Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло»... Кому известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не смущают. С самой детской верой соображает он, что сие «собранье острых слов» при дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. (...)

(...) А кстати, (...) почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в ко-

медиц, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной по-оранжерейному Софьи выскошила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

«...У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздите, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, наше сторона дело, а ино наплачешься, на нее гляди.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково было терпеть капитанше?»

Таким образом и сбрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и... нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право, так. (...)

Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собою утешились. Пусть все вокруг нас и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стоянило, на нас глядя. Теперь уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает,— а ведь это, как хотите, прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью, которой не было даже во времена наших Монбазонов

и де Роганов<sup>3</sup>, а ведь это, как хотите, прогресс. Зато как же мы теперь самоуверены в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — *tabula rasa*\*<sup>4</sup>, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула — стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева<sup>4</sup> за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то лучшее, чем мы. Лучше, чем мы, господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычисал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эманципации женщины. А ведь это все прогресс, как хотите! Теперь мы с такою каприльскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплевываем: «Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше!» Не спускать же предрассудкам, помилуйте! Ах боже мой, кстати теперь... Господа, положим на минутку, что я уж кончил мое путешествие и воротился в Россию. (...)

(...) Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и все порешивший. Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий,зывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок... —

одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Этот фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности.

\* чистая доска (лат.).

Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознаёт, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот уверен, что не всё и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры; и я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился... но об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, все же лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это-то и есть белоручничанье. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад. Любит у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я туда еду. «*Mais moi c'est autre chose*»\*. Я видел их там всех, то есть очень многих, а всех и не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправлennых к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим господам надела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил

\* Но я — другое дело (*франц.*).

себя отечеству, так сказать, родине... Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит: «Деревенские, дескать, соседи: в городе с ними не кланяются». Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и... и успел. «Он знает Русь, и Русь его знает». Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки... Но что об нем. Я заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал, что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска... Бедненькие! (...)»

## ГЛАВА VIII БРИБРИ И МАБИШЬ

(...) Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит мелодраму. Скромный и веселый водевиль — единственное произведение искусства, которое почти непересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте своего зарождения, в Париже, — водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не удовлетворяет его вполне. Буржуа все-таки считает его за пустяки. Ему надо высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности, а мелодрама все это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не умрет, покамест жив буржуа. (...)